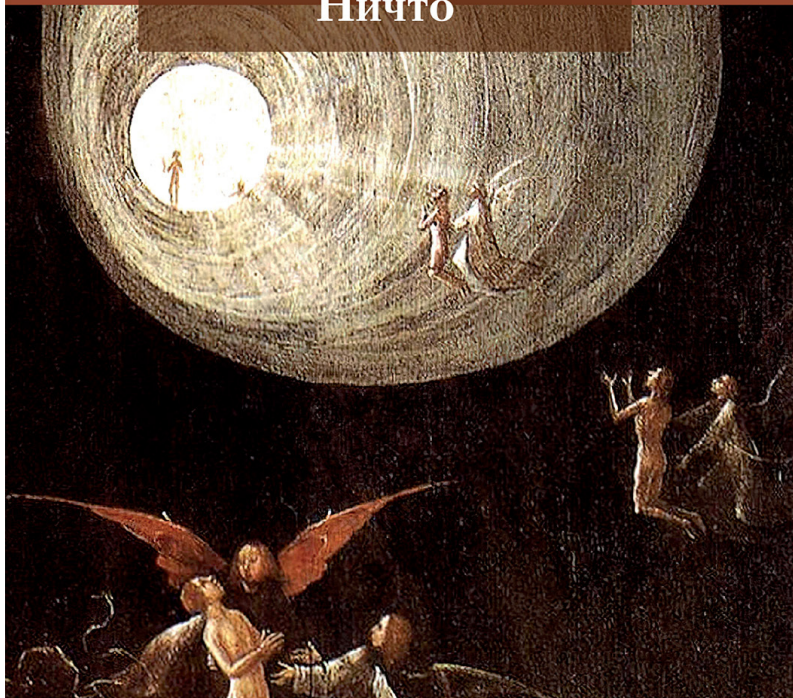


Д. Б. Тараторин

Краткая история Ничто



DirectMEDIA

Дмитрий Борисович Тараторин

Краткая история Ничто

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73998087

Краткая история Ничто:

ISBN 978-5-4499-4644-7

Аннотация

А какая вообще история может быть у Ничто? Весьма насыщенная, на самом деле. Это ведь наша с вами история – история человечества. Вся она – повесть о противостоянии людей факту своей смерти, за порогом которой вздымается Ничто – стена, которая кажется непробиваемой ничем. Немногие мыслители решались сделать из этого зрелища логичные выводы. Кто-то из них впадал в отчаяние, а у кого-то, наоборот, находились основания нести надежду и веру. Но никто до сих пор не пробовал понять, почему для кого-то столкновение с угрозой небытия – это ужас, который полностью меняет их жизнь, а кому-то этот опыт неизвестен, и они не видят в своей конечности ничего катастрофического.

Стоики и буддисты, Лев Толстой и Альбер Камю, Чингисхан и Сталин дадут на этих страницах свои ответы на вызов небытия. Мы увидим, как исчезновение с человеческого горизонта ада, вытеснение его небытием сказались на психических процессах и идеологических проектах. Попробуем понять, чему нас может научить император Калигула, а что не так с опытом Мартина

Лютера. Почему хоррор – это главный жанр современности. Куда нас ведет логика Ивана Карамазова и в каких отношениях Ничто с искусственным интеллектом.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Содержание

Сквозь черную линзу	6
Так начинается ужас...	9
Злодейство Ивана	18
Правда Калигулы	26
Великое стоическое надувательство	32
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Дмитрий
БорисовичТараторин
Краткая история Ничто

© Тараторин Д. Б., текст, 2024

© Издательство «Директмедиа Пабблишинг», оформление, 2024

Сквозь черную линзу

«Человек смертен. Но можно пересчитать по пальцам тех мыслителей, которые сделали из этого все выводы» – сказал Альбер Камю. И это поразительно точная мысль. И одновременно абсолютно парадоксальная. Казалось бы, это именно то, о чем и должен думать мыслитель. Более того, Сократ, с которого и началось, фактически критическое мышление сказал: «Те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей, только одним – умиранием и смертью».

Но разве его многочисленные последователи заняты этим? В подавляющем большинстве, чем угодно, но только не тем, что единственно важно. Впрочем, это вполне объяснимо. Столкновение с бездной небытия – это опыт, от которого кто-то бежит, а кто-то его и не имеет.

Но между тем, подлинная история человечества – это его взаимодействие с небытием. Да-да, именно это и ни что иное. Поэтому попытаемся взглянуть на Ничто через призму истории, а на историю – через черную линзу небытия.

Сквозь нее все видится не просто гораздо четче, но мы обнаруживаем, что сами очертания событий обретают иную форму, не говоря уж о содержании. А с детства знакомые, и для кого-то «пыльные» литературные классики вспыхивают внезапно черными же факелами своего внутреннего ужаса.

«Когда он простился с товарищами, настали те две мину-

ты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чем он будет думать: ему всё хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, – так кто же? где же? Всё это он думал в эти две минуты решить!

Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с ними...

Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны...» – так Достоевский описывает в «Идиоте» свои, конечно, собственные ощущения приговоренного.

Как известно, его помилуют в последнюю минуту. Но этот изощренный садизм Николая I зажег в его сознании отчаянный вопрос о посмертной своей участи: «Будет уже нечто, кто-то или что-то – так кто же? где же?»

Точнее и не выскажешь ведь самую суть: «кто же? где же?»

Человеческое Я требует от реальности БЫТЬ. Но с некоторых пор научно-общественный консенсус настойчиво лишает его этой надежды. И вполне маниакально настаивает на перспективе небытия. Неважно – после выстрела или по

итогу менее brutального ухода. Все неважно. Важно только это противостояние: Я и Ничто.

Вообще, в человеческой жизни все вариативно, все гадательно и зыбко. Кроме одного бесспорного факта – в финале всех и каждого ждет смерть. Соответственно, любая адекватная философия, идеология, политика и, разумеется, конкретная жизненная стратегия должны исходить из этой отправной точки.

От этого краеугольного камня. Могильного? Это слишком мрачно? На самом деле, во-первых, это не оправдание для того, чтобы от подобного подхода отказаться. Во-вторых, все зависит от угла зрения. А в-третьих, иначе корректное мышление попросту невозможно. Ведь реально у нас просто нет иной, общей для всех и каждого константы.

Так начинается ужас...

У Хармса есть замечательный текст:

«Так начинается голод:
с утра просыпаешься бодрым,
потом начинается слабость,
потом начинается скука,
потом наступает потеря
быстрого разума силы,
потом наступает спокойствие.
А потом начинается ужас».

Этот текст может быть метафорой метафизического пути, если взглянуть на него в обратной перспективе. Сначала ужас, который порождает голод – голод вечности, а в случае обнаружения «истинной пищи» – «бодрость». Впрочем, бодрость совершенно особого рода...

Но прямое столкновение с ужасом необходимо, чтобы иметь возможность говорить по существу, а не просто перебирать цитаты, которые останутся мертвыми. А они, хотя и говорят о смерти, должны быть живыми (такой парадокс), должны отзываться болью в собственной самой глубокой ране. Иначе все впустую.

«Да что это за глупость, – сказал я себе. – Чего я тоскую, чего боюсь». – «Меня – неслышно отвечал голос смерти. –

Я тут». Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь и не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасно», – Лев Толстой, один из немногих, кто сумел выразить опыт столкновения с небытием, общий, вплоть до нюансов, у всех, кто его пережил.

Но для того, чтобы попытаться его истолковать и описать его влияние на судьбы разных исторических персонажей (а вот оно совсем не одинаковое), автор поделится для начала и собственным примером встречи с небытием. Показательно, что даже те известные личности, которые его явно имели, в большинстве своем избегали его описания (Толстой – редкий случай). Но без этого многое может остаться (что часто и бывает) вовсе непонятым или неверно истолкованным.

Итак, ужас пришел очень рано. В шесть-семь лет. Как утверждают психологи – это как раз первый возрастной период, когда подобное может случиться. Без предупреждения и без каких-либо радикальных внешних поводов. По крайней мере, таких, которые могли бы именно так сфокусировать сознание.

Однажды на пороге сна, возможно, под впечатлением

судьбы какого-то только что погибшего на экране киноперсонажа (не помню), вдруг вспыхнул вопрос: «А я, что же, тоже умру?» И конечно, ребенок зовет маму в любой тревожной ситуации – наверняка она успокоит. Как это бывает всегда – наверняка и этой угрозы можно как-то избежать. Но это был не тот случай. И конечно, мама стала, как только и могла атеистическая мама успокаивать плачущего ребенка: мол, это случится еще очень нескоро, ты еще столько всего увидишь и в стольких местах побываешь.

И это-то было самым страшным – то, что самый близкий человек не только не может избавить от ужаса, но и не понимает даже о чем речь...

Ужас небытия здесь и сейчас, а не где-то и когда-то. В отношении него время и пространство абсолютно бессильны. Проживи хоть миллион лет, пересеки вдоль и поперёк галактику, но если в финале всё равно небытие, то нет принципиальной разницы исчезнуть прямо сейчас или через сколь угодно огромный отрезок времени.

Кто-то скажет: да нет, все же интересно побороздить галактику. Нет, интересно только тому, кто не пережил столкновение с Ничто. Ужас осознания исчезновения себя как самосознающего субъекта абсолютно леденящий и невыносимый. Он отзывается только лаем псов в беззвездной ночи тотального одиночества. Потому что ты понимаешь, что никто из твоих близких тебе тут не поможет. И ты на пороге бездны, которая готова тебя поглотить. Хуже того, с каждой ми-

нutoй ты сползаешь в нее и уцепиться не за что...

Но вот что удивительно – полевые исследования свидетельствуют, что у многих этого опыта нет.

И те, кто его не имеют, могут резонно усомниться, что все вышеописанное – это эмоции и выводы детского сознания. Но это истинно так. Более того, не понятно, почему такое не происходит со всеми ста процентами детей. В чем тут дело? Конечно, вопрос этот в полной мере актуален по поводу родившихся в атеистических семьях. Ужас небытия может быть по-настоящему тотален только, если у маленького человека нет даже идеи Бога и бессмертия.

Смотрите, ведь это логически необъяснимо. Что есть человек? Это, помимо того, что двуногое прямоходящее, прежде всего самосознающее существо. Это его видовое отличие от всего окружающего природного многообразия. То есть, каждый человек – это Я. И в связи с этим не понятно, как человек может не ужасаться перспективе исчезновения? Если исчезновение самосознания его не особо тревожит, то где же тут хотя бы инстинкт самосохранения? А если инстинкты над этой областью не властны, то что или Кто властны?

А между тем нередко приходится слышать, что человека гораздо больше волнует утрата близких, а насчет исчезновения самого себя он не очень озабочен. Морально это, наверное, похвально. Но равнодушие к судьбе своего Я кажется загадочным. Тем более, что оно вопиюще контрастирует с

такой яркой эмоцией по поводу угрозы исчезновения, возникающей у других, с виду точно таких же двуногих, что, по мнению, например, протестантского богослова и философа Пауля Тиллиха, ее вообще невозможно вынести сколько-нибудь продолжительное время.

Он пишет: «Тревогу порождает не мысль о том, что все имеет преходящий характер, и даже не переживание смерти близких, а воздействие всего этого на постоянное, но скрытое осознание неизбежности нашей смерти. Тревога – это конечность, переживаемая человеком как его собственная конечность... Это тревога небытия, осознание собственной конечности как конечности».

А вот страх, который ведом всем и каждому – это совсем другое. Страх – это как раз спасение от тревоги. Тиллих разбирает ситуацию в своем «Мужестве быть»:

«Страх, в отличие от тревоги, имеет определенный объект (в этом сходятся многие исследователи); этот объект можно встретить, проанализировать, побороть, вытерпеть. Человек может воздействовать на этот объект и, воздействуя на него, соучаствовать в нем – пусть даже формой соучастия становится борьба. Таким образом, человек может принять этот объект внутрь своего самоутверждения. Мужество может встретить любой объект страха именно потому, что он объект, а это делает возможным соучастие».

Но Тиллих уверен, что под каждым осязаемым и преодолемым страхом скрывается иное.

«Именно тревога неспособности сохранить собственное бытие лежит в основе всякого страха и создает страшное в страхе. Поэтому в тот момент, когда душой человека овладевает „голая тревога“, прежние объекты страха перестают быть определенными объектами. <...> Тревога стремится превратиться в страх, так как мужество способно его встретить. Конечное существо неспособно терпеть голую тревогу более одного мгновения. Те, кто пережил подобные моменты, – например, мистики, прозревшие „ночь души“, или Лютер, охваченный отчаянием из-за приступов демонического, или Ницше-Заратустра, испытавший „великое отвращение“, – поведали о невообразимом ужасе голой тревоги. Избавиться от этого ужаса обычно помогает превращение тревоги в страх перед чем-либо, неважно перед чем... Но в пределе всякие попытки преобразовать тревогу в страх тщетны. Устранить основополагающую тревогу конечного бытия, вызванную угрозой небытия, невозможно. Эта тревога присуща самому существованию».

Столкновение с небытием Тиллих называет «тревогой». Да, это экзистенциальный термин, но он слишком слаб применительно к рассматриваемому феномену. Определение его именно как ужаса, которое у него по ходу вырывается, и которое дает этому опыту Хайдеггер, по крайней мере, в русском языке гораздо точнее передает суть. И этот философ добавляет самых важных красок.

«В ужасе, говорим мы, „человеку делается жутко“. Что

„делает себя“ жутким и какому „человеку“? Мы не можем сказать, перед чем человеку жутко. Вообще делается жутко. Все вещи и мы сами тонем в каком-то безразличии. Тонем, однако, не в смысле простого исчезания, а вещи повертываются к нам этим своим оседанием как таковым. Проседание сущего в целом насаждает на нас при ужасе, подавляет нас. Не остается ничего для опоры. Остается и захлестывает нас – среди ускользания сущего – только это „ничего“.

Ужасом приоткрывается Ничто.

В ужасе „земля уходит из-под ног“. Точнее: ужас уводит у нас землю из-под ног, потому что заставляет ускользать сущее в целом. Отсюда и мы сами – вот эти существующие люди – с общим провалом сущего тоже ускользаем сами от себя. Жутко делается поэтому в принципе не „тебе“ и „мне“, а „человеку“. Только наше чистое присутствие в потрясении этого провала, когда ему уже не на что опереться, все еще тут», – свидетельствует Хайдеггер.

Ужас при осознании человеком угрозы небытия, угрозы стирания его Я – это важнейшее ощущение. Оно не сопоставимо ни с чем – это паническая мега-атака, когда человек открывает глаза во тьму и внезапно осознает: я смертен. Именно я. И по ту сторону даже не тьма, а просто щелкнет выключатель, который выключит меня.

Но Хайдеггер утверждает, что Я, собственно, и есть то, что вопрошает о Ничто.

«Оно не есть ни уничтожение сущего, ни итог какого-то

отрицания. Ничтожение никак не позволяет и списать себя на счет уничтожения и отрицания. Ничто само ничтожит. <...> В светлой ночи ужасающего Ничто впервые происходит простейшее раскрытие сущего как такового: раскрывается, что оно есть сущее, а не Ничто. <...> Человеческое присутствие означает: выдвинутость в Ничто».

Но кто может существовать «выдвинутым в Ничто»?

Тиллих прав – погружение в мысль о неотвратимой перспективе исчезновения твоего Я практически невыносима. Это, собственно, и не передашь тем, кто такого опыта не имел. И снова вопрос: как такое возможно, что кто-то имел, а кто-то нет?

Собственно, цель этой книги именно в его постановке, при заведомом понимании, что однозначный ответ найден не будет. Задача: тем, кто с ужасом небытия не сталкивался, дать некоторые представления о нем. Это будет точно бесполезно. Это раздвинет горизонты. Ну, а тем, кто имел с небытием дело, показать, как их братья в ужасе пытаются его одолеть. И еще важно понять, насколько близки или наоборот различны жизненные стратегии людей, по-разному воспринимающих или не воспринимающих Ничто, могут ли они вступать в неразрешимые конфликты. И могут ли найти общий язык при очень разном мировосприятии.

Федор Достоевский и Альбер Камю, пожалуй, наиболее отчетливо формулируют проблематику этой книги. Поэтому с их прозрений и начнем. Опыт, который они описывают, за-

ставляет тех, кто его пережил, переоценить и даже обесценить многие установки и правила, которые представляются не имевшим его само собой разумеющимся.

Вопрос, который нас интересует: какие последствия может иметь этот опыт и вытекающая из него переоценка. На примере императора Калигулы мы увидим, что этот вопрос имеет сугубо жизненное (точнее даже смертельное) значение абсолютно для всех. А нашим проводником станет Иван Карамазов. Кто же еще?

Да, и для кого-то, возможно, книга станет «красной таблеткой» Морфеуса...

Злодейство Ивана

Вот в самом первом приближении как раз некоторые последствия из выводов после опыта столкновения с Ничто. Вспомним, как описываются в «Братьях Карамазовых» идеи Ивана:

«Он торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставляло людей любить себе подобных, что такого закона природы: чтобы человек любил человечество – не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие. Иван Федорович прибавил при этом в скобках, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало, он закончил утверждением, что для каждого частного лица, например как бы мы теперь, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли

не благороднейшим исходом в его положении».

Рассказчик, транслирующий в романе эти идеи Ивана, подобному ходу мыслей изумляется. То есть, он не понимает, из какого виденья, из какого опыта исходит Иван. Но, скорее всего, и многие читатели этого романа не отдадут себе отчет, о чем тут речь. И возможно, просто полагают, что Иван такой вот эксцентричный персонаж. В самом деле, как люди, не ведающие Ужаса, понимают Достоевского?

Но почему Иван Карамазов считает, что преступление именно необходимо в случае отсутствия бессмертия?

На этот вопрос отвечает Альбер Камю в своем «Бунтующем человеке». Он называет исходный импульс метафизическим бунтом: «Будучи протестом против незавершенности человеческих начинаний, обрываемых смертью, и против разобщенности людей, объясняющейся злом, метафизический бунт является обоснованным требованием блаженного единства, антипода страданий жизни и страха смерти. Если всеобщий смертный приговор определяет человеческую жизнь, то бунт в некотором смысле возникает одновременно с ней. Протестуя против своей смертной природы, взбунтовавшийся человек отказывается признать силу, которая принуждает его жить в подобных условиях».

То есть человек отказывается принять такое мироздание в целом, а уж тем более какие-то нелепые социальные законы и нормы общежития.

Стоп, скажут люди, не встречавшиеся с Ужасом, а что это

за бред бунтовать против мироздания и его законов? И представьте, Федор Михайлович давно уже услышал вас (вернее, также мыслящих) и дал вам ответ в своих «Записках из подполья»:

«Помилуйте, – закричат вам, – восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена... и т. д., и т. д.». Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило.

Как будто такая каменная стена и вправду есть успокоение и вправду заключает в себе хоть какое-нибудь слово на мир, единственно только потому, что она дважды два четыре. О нелепость нелепостей! То ли дело все понимать, все сознавать, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться».

Но ведь об стену башку расшибить можно, в самом деле. Совершенно верно. Но вот ведь вопрос – а есть ли смысл ее беречь, башку-то?

Камю гениально точно формулирует суть: «Решить, стоит

или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями – второстепенно».

Не просто второстепенно, добавим, но вообще не имеет реально ни малейшего значения.

«Мир, который поддается объяснению, пусть самому дурному, – этот мир нам знаком. Но если вселенная внезапно лишается как иллюзий, так и познаний, человек становится в ней посторонним. Человек изгнан навек, ибо лишен и памяти об утраченном отечестве, и надежды на землю обетованную. Собственно говоря, чувство абсурдности и есть этот разлад между человеком и его жизнью, актером и декорациями. Все когда-либо помышлявшие о самоубийстве люди сразу признают наличие прямой связи между этим чувством и тягой к небытию», – развивает мысль Камю.

И обнаруживает поразительную вещь – о самом главном человек, и даже не просто человек, но «профессиональный мыслитель» думает загадочным образом мало.

И Камю указывает на то, от чего большинство пытается спрятаться, с чем пытаются совладать умы меньшинства, но что абсолютно невыносимо и для первых, и для вторых: «Человек сталкивается с иррациональностью мира. Он чувствует, что желает счастья и разумности. Абсурд рождается в этом столкновении между призванием человека и неразумным молчанием мира».

Проблема именно в нашем самосознании. Мы наделены им по загадочной причине (никакие модные когнитивисты не просветят вас на этот счет), выделены из всего окружающего нас мира, но если он таков, каким нам его представляет «научное знание», то это не дар, а проклятье. Конечное существо, жаждущее бесконечного, что может быть абсурднее? И что может быть смешнее? Но в этом цирке некому смеяться. Человеку не к кому апеллировать в пустой и равнодушной вселенной.

И вот это столкновение с абсурдом и порождает абсурдный, бессмысленный бунт, о котором говорит и Иван Карамазов, который, тем не менее, является единственно логичным ответом на абсурд мира.

И император Калигула в пьесе того же Альбера Камю говорит именно об этом:

«Калигула. Этот мир, такой, как он есть, невыносим. Следовательно, мне нужна луна, или счастье, или бессмертие, что угодно, пусть даже безумие – но не от мира сего.

Геликон. Этот принцип хорош сам по себе. Но ему невозможно следовать до конца.

Калигула. Ты ничего не знаешь об этом. Потому что еще никому и никогда не удавалось быть последовательным в чем-либо. Но может быть, просто достаточно до конца оставаться логичным».

Император хочет именно этого – быть до конца, до предела честным. И не прятаться в иллюзии:

«Эта правда совсем простая и совсем ясная, немного глупая, но ее трудно открыть и тяжело выдержать.

Геликон. И что ж это за правда, Кай?

Калигула (*отвернувшись, равнодушно*). Люди умирают, и они несчастны.

Геликон (*после паузы*). Ну, Кай, с этой правдой они научились ладить. Погляди вокруг. Она не портит им аппетита.

Калигула (*неожиданно взорвавшись*). Так вот, все вокруг меня ложь, а я, я хочу жить только в правде».

А правда в мире, где все и всё умирает только одна. Ее император и начинает реализовывать с железной логикой.

«Калигула. Теперь слушай. Во-первых: все патриции, все граждане Империи, располагающие какими-либо средствами – не важно, большими или малыми, это все равно, – обязаны лишить своих детей наследства, завещав все государству.

Управитель. Но, Цезарь...

Калигула. Я еще не давал тебе слова. Исходя из наших нужд, мы будем этих людей казнить в порядке свободного списка. В нужном случае этот список можно будет изменять – как нам заблагорассудится. И мы унаследуем все эти средства.

Цезония (*высвобождаясь*). Что это ты выдумал?

Калигула (*невозмутимо*). Порядок казней на самом деле не имеет никакого значения. Или, скорей, эти казни имеют равное значение, из чего вытекает, что значения они не име-

ют».

И, исходя из факта неотвратимости небытия, ему нечего возразить.

Или все-таки есть? Есть, например, такой аргумент, что люди, даже сознавая свою финальную обреченность, предпочтут протянуть свои годы более или менее в покое, а главное в любви.

И им вторят иные проповедники, которые утверждают, что в конечном счете все люди хотят одного – быть любимыми. Это напоминает, формулу из культового советского фильма «Доживем до понедельника» – «Счастье – это когда тебя понимают».

Но что есть любовь, если мы говорим не о влюбленности и прочих романтически-физиологических проявлениях? Святой Фома Аквинский говорил, что любить – это значит желать блага другому ради него самого, а не ради себя. То есть когда мы жаждем любви, мы, в свою очередь, жаждем блага, которым нас кто-то одарит.

Но вспомним первичный опыт столкновения с Бездной, описанный в начале. Смогла ли спасти ребенка от ужаса небытия любовь матери? Нет, никоим образом. И это тоже фундаментальный экзистенциальный опыт, оказывающий, при его наличии, мощное формирующее влияние. Смысл его в том, что никакой человек не может дать тебе подлинное благо – бессмертие. «Никто не благ, как только один Бог», – говорит Христос.

И этот опыт не обесценивает любовь в высшем смысле, о котором еще поговорим, но делает совершенно несущественным фактор социального одобрения, симпатии к тебе других, «понимания» ими и обесценивает все прочие «морковки», которые вешает перед своими послушными «осликами» общество. Человеку, столкнувшемуся с Ужасом, общество не может дать НИЧЕГО ценного. Ничем не может купить его лояльность и добропорядочность.

Правда Калигулы

Но вернемся к нашим безумным римским императорам. Чем они нам важны и интересны? Дело в том, что именно в этот период мы вполне определенно фиксируем появление небытия. То есть, в каком смысле? В смысле его осознания. До римско-имперского периода мы не можем выявить с достаточной определенностью факт не наличия этой идеи, но постижения ее. Как философскую идею ее формулирует еще Парменид, но это не имело, разумеется, последствий сразу и непосредственно.

В традиционной греческой мифологии царство мрачного Аида и прочие постмортальные сюжеты – это все равно бытие. Безрадостное и тусклое в древнегреческом случае.

«Видел я и души Ахилла, Патрокла, Антилоха и Теламоида Аякса. Ахиллу рассказал я о великих подвигах сына его Неоптолема, и возрадовался он, хотя горько сетовал раньше на безрадостную жизнь в царстве умерших и желал лучше быть последним батраком на земле, чем быть царем в царстве душ умерших», – рассказывает хитроумный Одиссей, умудрившийся пообщаться с обитателями потустороннего мира.

Либо же посмертие может быть и такое, где возможны самые разные варианты дальнейшей участи души, как в Древнем Египте – с потусторонним судом Осириса.

Но не было во всех этих мифологиях фатальной перспективы именно аннигиляции Я. В том числе и потому, что выделение этого Я из коллективных общностей, осознание себя самого, своего личного бытия абсолютной ценностью проявляется со всей отчетливостью именно в греко-римской античности.

До тех же пор, пока человек не осознает себя в полной мере личностью, угроза аннигиляции Я для него не особо чувствительна, ведь он осознает себя как часть МЫ.

То есть, таким образом, обнаруживаем, что тоталитарные системы XX века – это попытка вернуться к дремучей архаике. Во времена, глубоко предшествующие Калигуле. И таким образом, просто спрятать небытие за псевдо-вечностью мега-коллективов – нации или пролетариата. Попытка обреченная. «Я» невозможно убить в лагерях и нельзя растворить в массовых парадах.

Калигула так полюбился Альберу Камю, поскольку, конечно, был королем абсурда, точнее, исходя из римского антуража – императором.

Чего стоит хотя бы знаменитый конь. Светоний пишет: «Своего коня Быстроногого он так оберегал от всякого беспокойства, что всякий раз накануне скачек посылал солдат наводить тишину по соседству; он не только сделал ему конюшню из мрамора и ясли из слоновой кости, не только дал пурпурные покрывала и жемчужные ожерелья, но даже отвел ему дворец с прислугой и утварью, куда от его имени пригла-

шал и охотно принимал гостей; говорят, он даже собирался сделать его консулом».

Впрочем, конь-консул – это еще довольно невинно по сравнению с другими его «милыми чудачествами». «При жертвоприношении он оделся помощником резника, а когда животное подвели к алтарю, размахнулся и ударом молота убил самого резника. Среди пышного пира он вдруг расхохотался; консулы, лежавшие рядом, льстиво стали спрашивать, чему он смеется, и он ответил: „А тому, что стоит мне кивнуть, и вам обоим перережут глотки!“»

Но тиранствуя по отношению к аристократии, он отнюдь не был милосерднее и к простолюдинам. «Во время закусок и попоек часто у него на глазах велись допросы и пытки по важным делам, и стоял солдат, мастер обезглавливать, чтобы рубить головы любым заключенным. В ПUTEОЛАХ при освящении моста <...> он созвал к себе много народу с берегов и неожиданно сбросил их в море, а тех, кто пытался схватиться за кормила судов, баграми и веслами отталкивал вглубь».

Конечно, Гай Калигула в описании Светония предстает не философом, решившим сознательно идти в абсурде до предела, а скорее просто буйнопомешанным, в чьих руках оказалась неограниченная власть. Но тем не менее, древнеримский источник подчеркивает, что для императора не существовало никаких святынь, никаких высших ограничивающих факторов.

И даже убивая Калигулу, никто не может доказать ему,

что он хоть в чем-то неправ. Доверимся снова версии Альбера Камю:

«Калигула. Тогда почему ты хочешь меня убить?»

Керей. Я сказал тебе: я считаю, что ты приносишь вред. Я люблю безопасность. У меня потребность жить в безопасности. Большинство людей подобны мне. Они не способны жить во вселенной, где самая причудливая мысль в единый миг может стать реальностью. Я тоже, я не могу жить в такой вселенной. Я хочу сам распоряжаться собой.

Калигула. Безопасность и логика несовместимы.

Керей. Это правда. Это нелогично, но разумно.

Калигула. Продолжай.

Керей. Мне нечего больше сказать. Я не хочу принимать твою логику. У меня другое представление о моем человеческом долге. Я знаю, большинство твоих подданных думают так же, как я. Ты мешаешь всем. Будет естественно, если ты исчезнешь.

Калигула. Все это очень понятно и вполне законно. Для большинства людей это очевидно. Однако не для меня. Ты умен. Ум должен дорого платить за себя либо себя уничтожить. Я плачу. А ты, почему ты не уничтожаешь себя и не хочешь платить?

Керей. Потому что я хочу жить и быть счастливым. И я думаю, что ни то ни другое невозможно, когда собственная логика все время приводит к абсурду. Я такой, как все. Для того, чтобы чувствовать себя свободным, я иногда желаю смер-

ти тем, кого люблю; желаю тех женщин, чьи законы семьи и дружбы запрещают мне желать. Чтобы оставаться логичным, я должен был бы убивать или насиловать. Но я считаю, что все эти смутные желания значения не имеют. Если бы все стали их осуществлять, мы не смогли бы ни жить, ни быть счастливыми. А только это мне и нужно.

Калигула. Тогда надо верить в какие-то высшие идеи».

И он воистину прав. И через два года после убийства Калигулы в Рим придет апостол Петр. И Высшая Идея появится. И столкнется с ней, и не сможет ее принять, и даже попробует убить ее новый безумец на троне.

Нерон тоже не хотел и не мог раствориться в коллективной судьбе римского народа. Вместо этого он натурально стал маньяком. Но снова: какие у вас есть рациональные аргументы, чтоб ему возразить? Сколько бы вы ни напрягались, ничего кроме массово принятых, но ни на чем не основанных долженствований, вы представить не сумеете.

Он наследовал Калигуле не непосредственно. Между ними затесался вполне бесцветный Клавдий, у которого, зато была мега-яркая супруга Мессалина, прославившаяся, в частности, тем, что, будучи женой императора, чисто из любви к искусству занималась проституцией в самом обычном римском публичном доме. То есть тоже была личность «без страха и упрека». То есть не боялась ни высшего суда, ни собственного мужа, ни осуждения римской «общественности». И была, в конце концов, убита за организацию заговора

против супруга-императора.

Но главное в ее истории то же, что и у Калигулы, и у Нерона, и у их более поздних последователей – полное отсутствие критериев добра и зла, порочного и благого. Потому что «традиционные» республиканские устои, основанные на добродетелях общего блага и мифомышлении, были разрушены. И им прямо в лицо неумолимо глядело небытие. А обладание абсолютной властью для личности, напрочь лишенной надежд на вечность, а оттого и ориентиров – страшная угроза для окружающих.

Великое стоическое надувательство

Случай с Нероном интересен прежде всего тем, что у него был учитель – философ Сенека – стоик. А стоики именно и учат быть сдержанным, разумным и благородным, вне зависимости от того, что тебя ждет Там. Это поведение якобы и дает счастье.

Но Нерон видел свое счастье в беспределе, то есть именно стремился опрокинуть все конвенции – вплоть до убийства матери. И что ему смог возразить Сенека, когда ученик просто приговорил его к смерти и предложил самому выбрать ее вид? Он стоически перерезал себе вены и вдобавок хлебнул яду. Впрочем, это ничем не было лучше финала самого Нерона, который перерезал себе горло, преследуемый заговорщиками.

Самое нелепое, что стоицизм становится вновь популярен в наше время. Поэтому противостояние Сенека – Нерон особенно важно в разоблачении стоического надувательства.

Стоицизм был и есть востребован потому, что социум нуждается, власть нуждается, сам человек нуждается в долженствованиях. В обосновании того, что человек имеет некие обязательства. Без этого власть рухнет, социум распадется, а человек сходит с ума.

Кстати, именно миф об Ахилле, чья душа канула в Аид, оказался настолько живым и мобилизующим, что побудил Александра Македонского на подражание его подвигам и, как следствие, на первую попытку глобализации путем создания великой, многонациональной и поликультурной империи. И разумеется, вырванные волей великого завоевателя из узких полисных рамок, личности перед лицом бескрайности мира и безграничности космоса стали активно осмыслять свое в них место.

Первые космополиты и нигилисты, впрочем, появились даже чуть раньше великого завоевателя как предчувствие неизбежного. Это были киники (позднейшие циники – выхолощенная производная от этих прото-панков), самым знаменитым из коих был Диоген, тот самый который жил в бочке и публично справлял все свои естественные (в том числе сексуальные) потребности.

В чем была суть их не только учения, но и образа жизни, который они практиковали? В том, что они отрицали всякий пафос и величие, а соответственно и целеполагания, ими обусловленные.

За всем этим стояло и глубокое разочарование в демократических ценностях, и полное неверие в способность великих царей принести справедливость и порядок. Основоположник школы Антисфен был учеником Сократа и был глубоко потрясен тем, что «народовластие» обрекло на смерть мудрейшего из людей.

Он считал, что счастье в обретении добродетели. «Для этого ничего не нужно, кроме Сократовой силы. Добродетель проявляется в поступках и не нуждается ни в обилии слов, ни в обилии знаний. Мудрец ни в чем и ни в ком не нуждается, ибо все, что принадлежит другим, принадлежит ему. Безвестность есть благо, равно как и труд».

Но что такое «добродетель»? Пока человек ощущает себя частью стаи (а древнегреческий полис или современная нация – это разновидности стаи), ему несложно определиться с этим термином. Собственно добро – это то, что способствует выживанию, развитию, экспансии стаи, ну а зло – все, что препятствует. Ну, а если ты вышел из стаи и залез в бочку, что такое добродетель?

Диоген, ученик Антисфена считал, что она состоит в стремлении к простоте и ограничении себя самыми естественными потребностями. Поэтому ни во что не ставил власти и демонстрировал на своем примере, что довольство и безмятежность можно обрести, не имея практически ничего. И как раз имущество и стремление ко все большему стяжанию – корень несчастий.

Когда один из военачальников Александра Македонского по имени Пердикка потребовал, чтобы Диоген под угрозой смерти явился к нему, философ по поводу власти, способной отправить его на казнь, заметил: «Невелика важность: то же самое могли бы сделать жук или фаланга. Хуже было бы, если бы он объявил, что ему и без меня хорошо живется».

Ну, и стал хрестоматийным эпизод, когда сам Александр спрашивает Диогена, что он мог бы для него сделать, а тот отвечает, что всего лишь отойти и не загроживать солнце, в лучах которого он греется.

Платон назвал Диогена «обезумевшим Сократом». А тот в свою очередь издевался над элитарностью его философии.

Собственно, киники вообще не решали проблему смерти, их волновало, как прожить так, чтобы не навешать на себя совершенно пустых, ложных обязательств и долженствований. И так обрести счастье. Но это означало лишь то, что они не сталкивались с «голой тревогой» Тиллиха, поскольку это столкновение исключает обретение простого и незамысловатого счастья, с выведенным за скобки вопросом о небытии.

На самом деле, эта философия была куда элитарнее Платоновской, поскольку тот образ жизни, который из нее следовал, привлекателен для весьма немногих. Так было в античности. Так обстоит дело и сейчас.

Другое дело, эпикурейство. Вот это направление мысли оказалось по нраву куда большему числу последователей. В том числе среди властей предрержащих. И не удивительно, ведь на воротах этой школы была надпись: «Гость, тебе здесь будет хорошо; здесь удовольствие – высшее благо». Однако имелись в виду не какие-то буйные и ведущие к саморазрушению удовольствия. Нет, подлинные удовольствия, по мысли Эпикура, можно обрести лишь ведя комфортную и безмятежную жизнь, характеризующуюся атаксией (спокой-

ствие и свобода от страхов) и апонией (отсутствие боли).

И тут, конечно, без решения вопроса о страхе смерти не обойтись. И Эпикур его решал. Причем, его умозаключения и по сей день удовлетворяют весьма многих:

«Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мертвых, так как для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существуют», – вот такой забавный парадокс изрек Эпикур. И развил свою мысль: «Смерть для нас – ничто: ведь все и хорошее, и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущений».

Ну, а раз так, то жить следует таким вот примерно образом: «Мудрец не уклоняется от жизни и не боится не-жизни, потому что жизнь ему не мешает, а не-жизнь не кажется злом. Как пищу он выбирает не более обильную, а самую приятную, так и временем он наслаждается не самым долгим, а самым приятным. Кто советует юноше хорошо жить, а старцу хорошо кончить жизнь, тот неразумен не только потому, что жизнь ему мила, но еще и потому, что умение хорошо жить и хорошо умереть – это одна и та же наука».

Все это можно было бы признать даже остроумным. Но это рассуждения человека, явно неспособного помыслить реальность аннигиляции Я, либо же того, кому оно по каким-то причинам не дорого. Иными словами, Ивану Карамазову это не интересно, его это не убеждает.

Но может быть, все же стоицизм сгодится? Может, школа,

само имя которой стало нарицательным, обозначая непреклонность перед лицом любых вызовов и ударов судьбы, способна дать путеводную нить, по которой есть шанс выбраться из лабиринта, где нас жаждет пожрать небытие-Минотавр?

На самом деле, рассуждения о небытии стоиков не особо отличаются от эпикурейских. Сенека пишет: «Смерть – это небытие; но оно же было и раньше, и я знаю, каково оно: после меня будет то же, что было до меня. Если не быть – мучительно, значит, это было мучительно и до того, как мы появились на свет, – но тогда мы никаких мук не чувствовали. Скажи, разве не глупо думать, будто погашенной свечке хуже, чем до того, как ее зажгли? Нас тоже и зажигают, и гасят: в промежутке мы многое чувствуем, а до и после него – глубокая безмятежность. Если я не ошибаюсь, Луцилий, то вот в чем наше заблуждение: мы думаем, будто смерть будет впереди, а она и будет, и была. То, что было до нас, – та же смерть. Не все ли равно, что прекратиться, что не начаться? Ведь и тут, и там – итог один: небытие».

Сенека рассуждает: «Мудрец говорит: „Я смело ухожу туда не в надежде на то, что мне открыт, по моему разумению, путь к моим богам. Я заслужил быть принятым в их число и уже был среди них: я послал к ним мою душу, а они мне ниспослали свою. Но допустим, что я исчезаю совершенно, что от человека ничего не остается; мое мужество не меньше, даже если я ухожу в никуда“».

При этом Сенека советует избрать какой-нибудь благой

пример для подражания и ему непреклонно следовать: «Получи от меня нечто полезное и целительное и навсегда сохрани в душе: „Следует выбрать кого-нибудь из людей добра и всегда иметь его перед глазами, – чтобы жить так, словно он смотрит на нас, и так поступать, словно он видит нас“. Этому, мой Луцилий, учит Эпикур. Он дал нам охранителя и провожатого – и правильно сделал. Многих грехов удалось бы избежать, будь при нас, готовых согрешить, свидетель. Пусть душа найдет кого-нибудь, к кому бы она испытывала почтение, чей пример помогал бы ей очищать самые глубокие тайники. Счастлив тот, кто, присутствуя лишь в мыслях другого, исправит его! Счастлив и тот, кто может так чтить другого, что даже память о нем служит образцом для совершенствования! Кто может так чтить другого, тот сам вскоре внушит почтение. Выбери же себе Катона, а если он покажется тебе слишком суровым, выбери мужа не столь непреклонного – Лелия. Выбери того, чья жизнь и речь, и даже лицо, в котором отражается душа, тебе приятны; и пусть он всегда будет у тебя перед глазами либо как хранитель, либо как пример. Нам нужен, я повторяю, кто-нибудь, по чьему образцу складывался бы наш нрав. Ведь криво проведенную черту исправишь только по линейке».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.